

В родных местах Воспоминания крестьян о Н.А. Некрасове

Воспоминания крестьян — преимущественно охотников — известны во многих записях. В 1889 году поэт С.Д. Дрожжин опубликовал записные воспоминания егеря Сергея Макаровича, с которым Некрасов охотился в Чудовской Луке. Особенно много воспоминаний крестьян было собрано к 25-летию со дня смерти поэта. Они-то и помогают понять, что влекло Некрасова в деревню, к мужикам, а также истоки некрасовской поэзии, посвященной сеятелю и хранителю земли русской.

Сергей Макарович (В пересказе С.Д. Дрожжина)

Я сопровождал на охоту Николая Алексеевича большей частью в Тихвинском уезде в зимнюю пору и жил обыкновенно в своей деревне, а когда он, бывало, собирался на эту самую охоту, то всегда за несколько дней до своего приезда из Питера писал мне, чтоб я встретил его в такой-то день на станции и приготовил лошадей. Эти записки я и теперь храню дома в шкатулке на память. Подписывался он под ними всегда не полной фамилией, а только двумя буквами: Н.Н.

Брат мой, Иван, постоянно находился у него при имении в Ярославской губернии, и барин в нем, как и во мне, души не чаял. Раз у Ивана, когда Некрасов жил в Петербурге, рублей на 800 украли господских вещей.

Приезжает барин, видит по лицу брата, что-нибудь у него да неладно, и спрашивает:

— Что с тобой, Иван?

Иван объяснил, в чем дело, Некрасов на это только улыбнулся, да и говорит:

— Есть о чем тревожиться, а я думал и бог весть что случилось. Ну, Иван, вор, который украл, наверное, не разбогатеет, а я теперь в состоянии приобрести украденные им вещи.

Как сейчас вижу его, покойника! На охоту он всегда одевался в тулуп на волчьем меху, и в такую, как у вас на портрете при его сочинениях, большую шапку, и опоясывался шелковым кушаком. Вот раз, вместе с несколькими господами, прибывшими с ним, поехал на охоту, мы с барином едем впереди всех; дорога ухабистая-разухабистая; он лежал в санях, растянувшись, должно быть, хотел отдохнуть. Я, то и знай, кричал при каждом ухабе на ямщика, чтобы ехал поосторожней и не свалил барина как-нибудь в канаву или сугроб, ямщик, нечего сказать, слушался и придерживал тройку. Когда мы благополучно возвратились с охоты, барин сверх положенного дал еще ямщику два рубля на чай.

— А это тебе, Макаров, за то, что ты всю дорогу спасал мне жизнь, — проговорил он, подавая мне три синеньких... Вот какой был доброй души покойник, — в заключение промолвил Макарыч, вздыхая, и, немного погодя, продолжал. — Заехали мы как-то с ним по пути в деревню Забище пообогреться. Вошел он в избу одного крестьянина и увидел в ней эту бедность-то крестьянскую, непокрытую... Ребятишек полная изба и мал мала меньше, такие все худенькие да оборванные, ужась! А мужик, отец этих ребятишек-то, сидит в переднем углу да лапоть ковыряет. Барин посмотрел, посмотрел на него, да и спрашивает:

— А что, отец, плохо, видно, живется с детишками-то?

— Плохо, родимый, уж так-то плохо, что не приведи царица небесная.

— А где же у тебя хозяйка-то?

— Да собирать пошла, — ответил мужик. Посмотрел опять он на мужика и прослезился... постоял так-то с минуту, достал из бумажника десять рублей, подал их торопливо мужику, бросился вон из избы, и мы поехали дальше.

Помнится также, пришлось делать для него облаву на медведя. Собрал я для этого мужиков и ребятишек...

— Что, Макаров, – спрашивает барин, – людей нанял?

— Нанял, – говорю, – Николай Алексеевич!

— За сколько?

— Да мужикам-то по сорок пять, а ребятишкам по двадцать пять копеек, – ответил я.

— Ладно, – промолвил он и стал собираться в дорогу. Приехали мы на охоту, и вдруг мужиков и ребятишек по моему счету оказалось больше, чем следует. Что делать? Стал я браниться и отгонять лишних-то; барин услышал это, подошел ко мне и говорит:

— Для чего ты, Макаров, гонишь их?

— Да тут, Николай Алексеич, – говорю, – оказалось много лишних, которых я не нанимал.

— Ну, что ж делать, Макаров, – говорит он, – пусть остаются, и лишние тоже хотят есть хлеб, недаром же сюда пришли. Не гони ты их, ради бога!..

Так всех и оставил, добрая душа...

Охота на этот раз удалась как нельзя лучше. Медведя барин убил, и он всех круглым счетом рассчитал по пятьдесят копеек, а мужикам сверх того дал еще и на водку. А как его, покойника, любили ребятишки! Куда бы он приезжал, вся как есть эта мелюзга-то так, бывало, и вывалит к нему навстречу, — и всегда ждут его, точно светлого праздника. Любил он их очень, ну и льнули к нему...

Приехали мы тоже как-то в одну деревушку, мороз был страшный, а нужно было сделать облаву, барин по случаю сильного мороза запретил мне брать ребятишек, и когда я набрал только взрослых, то некоторые ребятишки подняли рев.

— Что это они, Макаров, плачут? – спрашивает Николай Алексеевич.

— На охоту, – говорю, – вяжутся.

— Вот глупые!

Проговорив это, он подозвал ребятишек к себе и дал им на гостинцы...

— Да что тут говорить, – сказал, вздыхая, Макарыч, – таких господ, как покойный Николай Алексеич, нынче нет, да, пожалуй, и не будет...

С.П. Петров

— К концу уж это было. Расхворался совсем Миколай Лексеич. Рак у него внутри был. Зовет меня. «Степан, говорит, Петрович»... А он меня Степаном не называл — завсегда Степан Петрович. «Устрой, говорит, охоту, чтобы скоро и хорошо. Да поближе. Как-нибудь, говорит, доеду». Ну, нашел я ему живой рукой серых куропаток. Снарядили его, укутали, посадили и круг под него подложили, — без круга нельзя ему было. Ну, и рессоры тоненькие — не зыбнет. Поехали. И Зина его, Зина Миколавна, супруга, с ним. Кряхтит, охает Миколай-то Лексеич. «Далеко, что ли»? – говорит. А недалечко было. Приехали. «Вы, говорю, не беспокойтесь». Я ведь теперь шмоня, а тогда ходкой был. Разыскал с собаками. «Пожалуйте», – говорю. А он всегда со своей собакой ходил. Слез, пошел. Я это было дальше, а он бросил ружье и кричит: «Степан Петрович! Степан Петрович! Родной мой, не могу! Вези домой!» И не хочет садиться к Зиновине Миколавне. Сел ко мне в шарабан. Круг положили. Едем. Согнулся, молчит. Проехали уж Чудово — молчит. Посмотрел я на него сбоку. Что такое? Засунул палец в рот и кусает. Молчит, бледный, и палец кусает. Перепугался я. «Зачем, думаю, барин палец ест? Никогда этого не было». Выехали на пустопись, он и говорит: «Слушай, Степан Петрович! – сильный у него этакий голос был. – Слушай, говорит! Ты знаешь, как я тебя люблю. Больше Зины, больше брата. Ну, так слушай, что я тебе скажу. Только, смотри, никому, никогда не рассказывай! И Зине не говори. Чтобы между нами двоими только и было». — «Убей меня, бог, говорю». — «Хочу, говорит, застрелиться». — «Что же это, говорю, как же

это... слава худая пойдет»... А у самого слезы. Гляжу на него и плачу. И у него слезы. «Не вынести, говорит. Что я могу сделать? Боль такая непереносная. Я уж, говорит, намерялся из револьвера, да побоялся — не убьет сразу. А хочу, говорит, из штуцера». — «Не надо, говорю, Миколай Лексеич! Слово худое — застрелиться». И зачал я его уговаривать. Говорю, говорю, плачу, а он все молчит, зубы стиснул, желтый, худой, согнулся... «А вот, говорит, Боткинский велит в Крым ехать». — «Вот, говорю, и поезжайте с богом. Беспременно польза будет». Ну, поехал он, а легче-то ничего не было... Выписали потом из Вены доктора, — свои-то не могли, — операцию делал, провели ему в бок кишку. Ну, как ни мучился, а помер. И за что его бог наказал! Добрейший был барин до народа. Бывало, заложим тройку вороных, дуем. Сидит он присгорбившись, борода худенькая. Идут галахи. Он сейчас кучера тук в спину, стой! Смотрит. «Здравия желаем, ваше сиятельство!» А он всего-то ваше благородие! Просто благородный барин. Знают, как называть! Да оно и вправду, что твой князь был!.. «Что, скажет, выпить хочется?» — «Чего выпить! Голодные третий день»... А у него положенье — рупь на человека. А то и по три даст. Мелких не было. Понимал он насчет бедности. Сам испытал. Бывало, начнет рассказывать, как в Петербург приехал. Снял номерок, а денег, не то что — свечу не на чего купить. Спичку засветит, посмотрит, а потом опять темь. Вот как колотился!.. Сам голодал и других понимал. Бывало, никого не минует. Едем раз через Грузинский мост. Едем ходко, тихо не ездили. А мужик с обручами, около дороги, завяз: колеса у него кверху и телега перевернулась. Ну, мы без вниманья. А он — нет! Кучера стук в спину и ногу из тарантаса выкидывает. «Куда вы?» — спрашиваю. «Да вон мужик-то! Околевать ему, что ли? Видишь, не поднимет». — «Да вы-то куда? Вон у вас какая партия дураков. Уж вы-то сидите спокойно. Поднимем без тебя». Ну, пошел я, камендинер — здоровый парнишка у него был, еще два-три человека подошло, — народу около него страх сколько кормилось: кто патроны носит, кто сумку, шапку даст нести — неси, за все заплатит. Ну, перевернули, выправили на шоссе. «Ну вот, говорит, нам наплевать, пустое дело, а мужик-то, може, целый день пробился бы». Эх, добрейший был барин! Не знаю, за что бог окоротил век. Хорошему человеку и жизни нет, а другой болтается, черт его знает зачем! Ничего от него, кроме вреда, а живет!.. И мне через него честь большая была. Мужики-то, бывало, за версту кланяются: «Степан Петровичу!» А почему? Потому что охотимся, например, а к ночи Миколай Лексеич спрашивает: «Ну, где мы, Степан Петрович, оснуемся?» Любил он получше. «Да поедемте в деревню». Ну, к хозяину самовар, то да се. А наутро спрашивает: «Ты хозяин? Вот тебе красенькая. А старуха есть? Давай ее сюда. Вот и ей красенькая. А ребятишки есть? Ставь их в ряд». Да и им по трешнице. Вот как! Ну, и знали Степана Петрова! «Зайди, Степан Петрович, посиди!» Знают, с каким барином ежу. Всякому лестно залучить. А без барина-то больно я им нужен! Иди в омут глубокий! Теперь, небось, никто не приглашает! Эх, да кто только не знал барина Миколая Лексеича! На тридцать верст каждый мужик, каждая баба не то что его, и собак-то его знали! Раз поехали на бекасов. Ну, ездили, лазили, вернулись домой. Схватились — нет ружья! Потеряли. «Эх, жалко! — говорит Миколай Лексеич. — Поищи, Степан Петрович!» А знаменитое было ружье, любимое его. Он его не ружьем звал, а «фузейей». «Фузея», говорит. Ну, и правда, что «фузея»! Коротенькое, обкладистое. Как дернет, бывало, по бекасу, словно ножиком срежет. Ловкий был стрелять! Ну, вот и потеряли. А по тому месту шел, значит, мужик в Грузино. Наткнулся на ружье. «Э, говорит, это некрасовское». Ну, и прислал мне сказать. Все его знали и любили. Да как же не любить-то? Не видал я после него таких господ. И за что его бог?.. Нагляделся я на его муку. Кажись бы, все для него отдал. Вот как: поставь мне тогда в помойную яму его и отца родного и скажи: «столкни которого». Так я бы скорее отца, чем его. Да чего там! Скажи мне: «Реши свою иль его жизнь, нельзя вам обоим на свете жить». И вот уж не знаю... Пожалуй, не задумался бы. Пуцай его живет, а я что! Шмонька — шмонька и есть, туда мне и дорога!..

Старик Петров, сидя за столом в красной рубашке и валенках, рассказывал с необыкновенным волнением, местами всхлипывая, вскакивал и бил себя руками в грудь. Интересно было смотреть на этого старика (ему 67 лет), разрываемого стародавними воспоминаниями. Спрашивать его не нужно было: он сам неудержимо и беспорядочно выкидывал факт за фактом, которые воскресали в его голове.

— А что, Некрасов вам жалованье платил? – спросил я.

— Фф!.. Жалованье! – почти с негодованием вскричал он и от изумления не подыскал сразу негодующих слов.

Такое же изумленное восклицание раздалось за перегородкой из кухни, и его жена, старуха, высунув голову в дверь, повторила: «Жалованье! У него-то...»

— Жалованье! Какое жалованье! – порывисто перебил ее Петров, – тут не в жалованье дело! А родной он был! Что жалованье! Он подарки такие давал... Раз у меня лошадь околела. «Что, говорит, Степан Петрович, у тебя беда? Ты приходи, говорит, возьми у меня рыжего. А не понравится, Сеньку возьми». А рыжий-то у него сто двадцать рублей даден... Ну, взял я рыжего, никаких мне Сенек не надо. Лошадь здоровая, неломаная, в мужиках такой не найдешь. Да, вот как! И жалованье мне полагалось, да не в жалованье дело. Уж и то мне завидовали прочие егеря. Хотелось им на меня худобу положить. Сами-то, умные, не пошли, а подослали одного иваньковского дурака. Ну, он и начал наговаривать. Призывает меня Миколай Лексеич. Гляжу, сидят трое: Зиновина Миколавна и Василий Матвеич. Важный был барин, Лазаревский, министр, член внутренних дел, главный начальник по делам печати. А у Миколая Лексеича дела-то были по этой части. Ну, понимаете? Без него миновать нельзя. Ну, и был он завсегда почетный гость. Дружны были. Да, ну вот сидят. Начал мне Миколай Лексеич выкладывать. Я слушаю, трясусь от злости. «Напиши, говорю, все это на бумагу». — «Зачем?» — «А вот затем: притяну я их к суду и посмотрим, что скажут». — «Ну, это, говорит, не надо». — «Нет, надо!» — Кричу, трясет меня, так бы вот... «Я, говорю, тебе грязной служить не желаю, ты и чистых много найдешь». ...Он видит, что я в сумашествии, налил в бокал портвейну, пошел в кабинет, выходит, несет бокал на ладони. «Выпей». — «Не буду!» А Василий Матвеич, грубый был, кричит: «Пей!» — «Не буду!» — «Я тебе говорю — пей! Не ломайся!» Ну, выпил я, а на ладони бумажка. «Закуси!» — говорит Миколай Лексеич. — «Не возьму!» — «Нет, ты, говорит, бери да ступай к этим, возьми вот так за угол бумажку, потряси да скажи, кто, дескать, ище на Степана Петрова наблякает, так ище такую штуку получу». Ну, я, и правда, пошел... «Вот, говорю, за поблеканье-то ваше! Поблекочите, еще получу». Мне что! Сам велел! А бумажка-то пятьдесят рублей!..